

Часть 2. Провинции опыта

Формирование диаспорального интеллектуала:

ИНТЕРВЬЮ С СТЮАРТА ХОЛЛА КУАН-ХСИНГ ЧЕНУ¹

DOI: 10.53953/08696365_2025_192_2_64

The Formation of a Diasporic Intellectual: An Interview with Stuart Hall by Kuan-Hsing Chen

Колониальная ситуация

Куан-Хсинг Чен: В своих поздних работах о расе и этничности Вы уделяете основное внимание диаспоре, одному из важнейших мест, где артикулируется вопрос о культурной идентичности; эпизоды Вашего собственного опыта взаимодействия с диаспорами были представлены довольно ярко, акцентируя внимание как на теоретической, так и политической проблематике². Меня же интересует, как особенности различных исторических траекторий сформировали Ваш диаспоральный опыт, Вашу интеллектуальную и политическую позицию.

Стюарт Холл: Я родился на Ямайке и вырос в буржуазной семье. Отец большую часть своей жизни проработал в «United Fruit Company». Он первым из ямайцев шел на повышение на каждом рабочем месте, которое у него было. До него эти места занимали люди, ниспосланые головным офисом в Америке.

¹ Настоящий текст является заключительной главой книги под редакцией Дэвида Морли и Куан-Хсинг Чена «Стюарт Холл. Критические диалоги в культурных исследованиях» (Stuart Hall. Critical Dialogues in Cultural Studies / Ed. by D. Morley, K.-H. Chen. London; New York: Routledge, 1996. P. 486—505). Первоначально перевод этого интервью был инициирован Свободным марксистским издательством, готовившим к публикации сборник работ Стюарта Холла.

² Среди работ Стюарта Холла о расе и этничности см.: Gramsci's relevance for the study of race and ethnicity // Journal of Communication Inquiry. 1986. Vol. 10 (2). P. 5—27; Minimal Selves // Identity: The Real Me: Postmodernism and the Question of Identity / Ed. by L. Appignanesi. London: Institute of Contemporary Arts; Verso, 1987. P. 44—46; New Ethnicities // Black Film, British Cinema / Ed. by K. Mercer. London: Institute of Contemporary Arts, 1989. P. 27—31; Ethnicity: Identity and difference // Radical America. 1989.

Важно понять как классовые, так и цветные фракции, из которых вышли мои родители. Семьи моей матери и моего отца обе принадлежали к среднему классу, но к очень разным классовым формациям. Мой отец относился к цветной мелкой буржуазии. Его отец держал аптеку в бедной деревне за пределами Кингстона. Его семья была этнически очень смешанной: африканской, восточно-индийской, португальской, еврейской. Семья моей матери цветом кожи была гораздо светлее; в самом деле, если бы вы увидели ее дядю, вы бы подумали, что он английский эмигрант, почти белый или, как мы бы назвали это, «местный белый». Ее удочерила тетя, чьи сыновья — один адвокат, другой врач — учились в Англии. <...> Поэтому в моей собственной семье были культурно представлены и эта ямайская мелкая буржуазия с отчетливо темным цветом кожи, и более светлая классовая фракция, ориентированная на Англию и плантации.

В моей семье, таким образом, с самого начала возникал культурный конфликт между локальным и имперским, разыгрываемый в колониальном контексте. Обе эти классовые фракции — с их подчеркнуто расовым и цветным сознанием, отождествляющие себя с колонизаторами, — противостояли культуре бедного чернокожего ямайского большинства.

Я был самым черным в семье. В ней как шутку рассказывали историю о том, как моя сестра — которая была гораздо светлее меня, — когда я родился, заглянула в кроватку и спросила: «Откуда вы взяли этого маленького кули?» Сейчас словом «кули» на Ямайке оскорбительно называют бедных выходцев из Восточной Индии, считавшихся низшими из низших. Она не спросила: «Откуда вы взяли этого чернокожего ребенка?», — поскольку было немыслимо, что у нее мог быть чернокожий брат. Но она заметила, что я был другого цвета кожи, чем она. Это часто встречается в цветных ямайских семьях среднего класса, потому что они представляют собой продукт смешанных связей между африканскими рабами и европейскими рабовладельцами, и дети у них получаются самых разных оттенков.

Итак, я с самого начала чувствовал себя посторонним в своей семье — тем, кто не вписался, кто чернее других, «маленьким кули». И я исполнял эту роль повсюду. Моих школьных друзей, многие из которых были из хороших буржуазных семей, но чернее меня, не пускали в мой дом. Мои родители считали, что я завожу не тех друзей. Они всегда подбивали меня дружить с детьми более буржуазными и светлыми, а я не хотел. Вместо этого я эмоционально отделялся от семьи и находил друзей где-нибудь в других местах. Моя юность прошла в нескончаемых попытках примирить эти культурные пространства.

Отец хотел, чтобы я занялся спортом. Он хотел, чтобы я вступил в клубы, в которые вступил он. Но я всегда считал, что он и сам не совсем вписывался

Vol. 23 (4). P. 9—20; Cultural identity and diaspora // Identity: Community, Culture, Difference / Ed. by J. Rutherford. London: Lawrence & Wishart, 1990. P. 222—237; The local and global: Globalization and ethnicity // Culture, Globalization and the World-System / Ed. by A.D. King. London: Macmillan, 1991. P. 19—40; Old and new identities, old and new ethnicities // Culture, Globalization and the World-System / Ed. by A.D. King. London: Macmillan, 1991. P. 41—68; Critical decade: Black British photography in the 80s / Ed. by D.A. Bailey, S. Hall // Ten 8. Vol. 2 (3). 1992; What is this “Black” in Black popular culture? // Black Popular Culture / Ed. by G. Dent. Seattle: Bay Press, 1992. P. 21—36; The question of cultural identities // Modernity and Its Futures / Ed. by S. Hall, D. Held, T. McGrew. Cambridge: Polity Press; Open University, 1992. P. 273—326.

в этот мир. Он шел на разные сделки, чтобы попасть в него. Его из милости приняли англичане. Но я видел, как они снисходительно к нему относились. Я ненавидел это больше всего. Не только то, что он принадлежал миру, который я отвергал. Я не мог никак понять, почему он не видит, как они его презирают. Я говорил себе: «Разве ты не понимаешь, идя в этот клуб, что они считают тебя незваным гостем? Но ты хочешь и меня туда втянуть, чтобы и меня унижали так же?» Поскольку моя мать воспитывалась согласно порядкам, царившим на ямайских плантациях, она считала себя практически «англичанкой». Она считала Англию родиной и отождествляла себя с колониальной властью. У нее были надежды и относительно нас, ее семьи; в материальном отношении они были нам не по плечу, но она стремилась к их воплощению в культурном отношении.

Я пытаюсь сказать, что прожил эти классические колониальные напряжения как часть своей личной истории. Мой собственный характер и идентичность были во многом построены на отрицании предуготовленных мне доминантных личностных и культурных моделей. Я не хотел, как отец, вымаливать себе пропуск в бизнес-сообщество американских и английских эмигрантов и не мог отождествиться со старым колониальным миром, который моя мать считала «золотым веком». Я чувствовал себя скорее независимым ямайским парнем. Но в культуре моей семьи не нашлось места для такой субъективной позиции.

Сегодня движение за независимость Ямайки на подъеме. В студенческие годы я был его горячим сторонником. Я стал противником империализма и отождествлял себя с независимостью Ямайки. Но не моя семья. Они даже не поддерживали устремления национальной буржуазии к независимости. В этом они отличались даже от своих собственных друзей, которые, когда начался переход к национальной независимости, решили для себя: «Ну, по крайней мере, мы будем у власти». Мои родители, особенно мать, оплакивали этот ушедший колониальный мир как ничто другое. Это как пропасть разделило их планы на мой счет и то, как я сам себя воспринимал.

К.-Х.Ч.: Вы говорите, что Ваш порыв к «бунту» частично происходит из ситуации на Ямайке. Можете развить эту мысль?

С.Х.: В школе я был ярким и подающим надежды учеником и вовлекся в политическую активность, поэтому меня интересовало то, что происходило в политике, в частности формирование ямайских политических партий, появление профсоюзов и рабочего движения после 1938 года, зарождение националистического движения за независимость в конце войны; все это было частью постколониальной, или деколонизирующей, революции. Как только завершилась война, Ямайка стала прокладывать путь к независимости. Смысленных детей вроде меня и моих друзей, несмотря на разницу в цвете кожи и в социальном положении, увлекло это движение, и мы отождествляли себя с ним. Мы ждали конца империализма, самоуправления и самостоятельности Ямайки.

К.-Х.Ч.: Что определяло Ваше интеллектуальное развитие в этот период?

С.Х.: Я учился в маленькой частной школе, затем — в одном из крупных колледжей. В Ямайке был ряд больших школ для мальчиков и для девочек, построенных по модели английской системы государственных школ. Мы сдавали экзамены по английскому языку, обычный кембриджский и продвинутого

уровня³. Местных университетов не было, и, если вы собирались поступить в университет, нужно было уезжать в Канаду, США или Англию. Учебную программу еще не приспособили к местным условиям. Лишь в последние два года учебы я получил скучные знания об истории и географии Карибского региона. Это было очень «классическое» образование; очень хорошее, но с очень формальной академической точки зрения. Я изучал латынь, историю Англии, колониальную историю Англии, историю Европы, английскую литературу и т.д. Но из-за своего интереса к политике я занялся и другими вопросами. Школьники младше восемнадцати лет не могли получать стипендию, а мне тогда было меньше, и поэтому я сдавал финальный экзамен продвинутого уровня дважды и провел в шестом классе три года. В последний год я начал читать Т.С. Элиота, Джойса, Фрейда, Маркса, Ленина и кое-что из современной литературы и поэзии. Круг моего чтения был гораздо шире, чем предполагало обычное, узко академическое образование в британском духе. Но я во многом сформировался как представитель колониальной интеллигенции.

К.-Х.Ч.: Можете вспомнить кого-нибудь, кто повлиял на Ваше интеллектуальное развитие в то время?

С.Х.: Их было много, и они сделали для меня две вещи. Во-первых, дали мне сильное чувство уверенности в себе и в моих способностях к академическим достижениям. Во-вторых, сами будучи учителями, они отождествляли себя с этими зарождающимися националистическими тенденциями. Хотя они и были строго академичными и ориентированными на Англию, они в то же время внимательно следили за возникающим карибским националистическим движением. Многое я узнал именно от них. Так, барбадосец, учившийся в Кордингтон-колледже, преподавал мне латынь и древнюю историю. Шотландец, бывший игрок футбольного клуба Коринтиан, помог мне написать сочинение по текущим политическим событиям для финального экзамена по истории. Сочинение было о послевоенной истории, о войне и ее последствиях, о чем официально в школе не рассказывали. Я впервые узнал о холодной войне, о русской революции, об американской политике. Я заинтересовался международными делами и Африкой. Он познакомил меня с некоторыми политическими текстами — главным образом, чтобы «привить» меня от опасных «марксистских» идей. Я проглотил их. Я был записан в местную библиотеку, прозванную Институтом Ямайки. Мы ходили туда в субботу по утрам и читали о рабстве. Там я познакомился с карибской литературой, начал читать карибских писателей. Большую часть времени я читал самостоятельно, пытаясь осмысливать их и сам мечтая однажды стать писателем.

Война была очень важна для меня. В годы войны я был ребенком, и она была основным опытом. На нас, конечно, не нападали, но присутствие войны было реальным. Мне было хорошо известно о ней. Я привык играть в игры о войне и многое узнал о тех местах, где она происходила. Я узнал об Азии, когда американцы воевали на Филиппинах. Я узнал о Германии. Я следил за историческими событиями через призму войны. Задним числом я понимаю, что

3 A-level examinations — экзамены, которые школьники Великобритании сдают для поступления в университет после «шестого класса» (двух последних лет обучения в средней школе, предусмотренных для подготовки учащихся к получению высшего образования). — Примеч. пер.

многое узнал, просто разглядывая карты военных действий, например десантных операций в Восточной Азии, и играя с друзьями в войну (я часто бывал немецким генералом и носил монокль!).

К.-Х.Ч.: Большую ли роль сыграли для Вас Маркс или традиция марксистской литературы?

С.Х.: Ну, я читал работы Маркса — «Коммунистический манифест», «Наемный труд и капитал», читал Ленина об империализме. Они были важны для меня скорее в контексте колониализма, чем западного капитализма. Классовые вопросы отчетливо звучали на Ямайке в политических разговорах о колониализме, как проблема нищеты, проблема экономического развития и т.д. Многие из моих молодых друзей, поступивших в университет одновременно со мной, изучали экономику. Экономику считали ответом на проблему нищеты, с которой столкнулись страны вроде Ямайки в результате империализма и колониализма. Экономические вопросы также интересовали меня с колониальной точки зрения. Если у меня и были какие-то амбиции в этом отношении, то стремился я не в бизнесмены, как мой отец, а в адвокаты; адвокатская деятельность была в те годы на Ямайке главной дорогой в политику. Еще я мог стать экономистом. Но литература и история на самом деле интересовали меня больше, чем экономика. Когда мне было семнадцать, моя сестра пережила серьезный нервный срыв. У нее были отношения с молодым студентом-медиком, приехавшим на Ямайку с Барбадоса. Он был из среднего класса, но черным, и родители не позволяли развиваться этим отношениям. Была ужасная семейнаяссора, в результате которой с ней случился срыв. Я неожиданно осознал противоречия колониальной культуры, как индивид переживает опыт колониальной зависимости от цвета кожи и класса и как это может разрушить его как личность.

Я рассказываю эту историю, потому что она сыграла большую роль в моем развитии. Она навсегда разрушила для меня различие между частным и публичным «я». Я узнал о культуре как о чем-то глубоко личном и субъективном и в то же время как о структуре, в которой ты живешь. Я мог видеть, как все эти странные надежды и идентификации, которые мои родители проецировали на нас, своих детей, разрушили жизнь моей сестры. Она была жертвой, несшей в себе противоречивые амбиции родителей, сформировавшиеся в этой колониальной ситуации. После этого я никогда не мог понять, почему люди считают, что эти структурные вопросы не связаны с психическими — эмоциями, идентификациями, чувствами, поскольку для меня эти структуры — это то, что вы проживаете. Я имею в виду не только то, что они личностные, но они еще и институциональные, у них есть структурные свойства, они ломают, разрушают вас.

Это был очень травматичный опыт, поскольку в те времена психиатрическая помощь в Ямайке практически была недоступна. Моя сестра прошла под руководством терапевта курс электросудорожной терапии, после которой она так до конца и не оправилась. С тех пор она никогда не покидала дом. Она заботилась об отце, пока он не умер. Она заботилась о матери, пока она не умерла. Она ухаживала за моим ослепшим братом, пока он не умер. Это настоящая трагедия, которую я пережил вместе с ней, и я решил, что не могу смириться с этим; я не мог помочь ей, я не мог достучаться до нее, хотя и понимал, что случилось. Мне было семнадцать-восемнадцать лет.

Но это выкристаллизовало мои чувства о том пространстве, в которое занимала меня моя семья. Я не собирался оставаться там. Я не хотел, чтобы оно меня разрушило. Я должен был выбраться. Я чувствовал, что никогда не должен возвращаться в это место, иначе оно меня уничтожит. Когда я смотрю на свои детские и юношеские снимки, я вижу подавленного человека. Я не хочу быть тем, кем они хотят меня видеть, но не знаю, как быть кем-то еще. И это меня угнетает. Вся эта подоплека объясняет, почему я в конце концов эмигрировал.

К.-Х.Ч.: С тех пор вы поддерживали очень тесные отношения с сестрой, говоря психологически, вы идентифицировали себя с ней?

С.Х.: Не совсем. Хотя эта система испортила ее жизнь, она никогда не бунтовала. Поэтому вместо нее бунтовал я. Я виноват в том, что оставил ее одну справляться с этим. Своим решением эмигрировать я спасал себя. Она же осталась.

Я уехал в 1951 году и до 1957-го не знал, что не вернусь; на самом деле, я и не собирался возвращаться, но в то же время не знал этого. В некоторой степени, я могу сейчас писать об этом, потому что проделал долгий путь. Малопомалу я стал понимать, что я чернокожий уроженец Вест-Индии, что я могу рассказывать об этом и писать от этого лица. Прежде я мог писать об этом лишь в аналитическом ключе. В этом смысле на возвращение домой у меня ушло пятьдесят лет. Не то чтобы мне было что скрывать. Это было пространство, которое я не мог занимать и которое мне пришлось учиться занимать. Вы можете видеть, что мое формирование — познание разрушительного колониального опыта — подготовило меня к Англии. Я никогда не забуду, как высаживался там. Мать привела меня, в моей фетровой шляпе, пальто, с пароходным чемоданом. Она привезла меня, как ей казалось, «домой», на банановой лодке⁴ и доставила в Оксфорд. Она вручила меня изумленному слуге колледжа со словами: «Вот мой сын, его чемоданы, пожитки. Присматривайте за ним». Она доставила меня, с подписью и печатью, в тот самый Оксфорд, к которому, как ей казалось, ее сын всегда принадлежал.

Моя мать была человеком, чрезвычайно склонным к доминированию. Мои отношения с ней были тесными и антагонистичными. Я ненавидел все, что она поддерживала и пыталась навязать мне. Но мы все были тесно связаны с ней, поскольку она доминировала в нашей жизни. Она доминировала в жизни моей сестры. К этому примешивалось то, что у моего брата было очень плохое зрение, и в конце концов он ослеп. С ранних лет он очень зависел от родителей. Когда я родился, эта зависимость сына от матери уже стала моделью. Они пытались повторить ее и со мной. Но когда у меня появились собственные интересы и взгляды, начался антагонизм. В то же время отношения были интенсивными, потому что моя мать всегда говорила, что я был единственным, кто с ней боролся. Она хотела господствовать надо мной, но при этом она презирала тех, над кем господствовала. Она презирала моего отца, потому что он поддавался ей. Она презирала мою сестру, потому что она была девушкой, а женщины, как утверждала мать, не интересны. В подростковом возрасте сестра все время боролась с ней, но, когда мать ее сломала, она стала ее прези-

4 Ямайское сленговое выражение *banana boat* обозначает судна, на которых перевозят иммигрантов из Карибского бассейна. Те же самые судна использовались для транспортировки бананов. — Примеч. пер.

рать. Итак, наши отношения были антагонистичными. Я был младшим ребенком в семье. Она считала, что противостоять ей было моим предназначением, и уважала меня за это. В конце концов, когда она узнала, кем я стал в Англии — осуществив все ее параноидальные фантазии о бунтующем сыне, — она не захотела, чтобы я возвращался в Ямайку, поскольку к тому времени я представлял уже сам себя, а не ее представление обо мне. Узнав о моей политической деятельности, она сказала: «Оставайся там, не возвращайся и не создавай нам проблемы своими смехотворными идеями».

Когда они умерли, мои отношения с Ямайкой стали проще, потому что прежде, возвращаясь, я должен был «вести переговоры» с ней через родителей. После их смерти стало проще наладить новые отношения с новой Ямайкой, возникшей в 1970-е. Это была уже не та Ямайка, в которой я вырос. Она стала в культурном отношении черным обществом, пострабовладельческим и постколониальным, тогда как годы моей жизни на Ямайке пришлись на конец колониальной эпохи. Поэтому я мог взаимодействовать с ней как «знакомый незнакомец».

Парадоксально, но с Англией у меня были ровно те же самые отношения. Получив колониальное образование, я знал Англию изнутри. Но я не «англичанин» и никогда им не буду. Я очень близко знаю оба этих места, но не принадлежу полностью ни к одному из них. И это как раз и есть диаспоральный опыт, довольно далекий от переживания изгнания и потери, вполне близкий к разгадке тайны постоянно откладываемого «прибытия». Это интересно в отношении Ямайки, потому что мои близкие друзья, оставшиеся там, пережили опыт, которого не было у меня. Они прожили там 1968-й, рождение черного сознания и подъем растафарианства с его памятью об Африке. Они прожили это время иначе, чем я, и потому я не из их поколения. Я ходил с ними в школу и поддерживал с ними связь, но у них был совершенно другой опыт, чем у меня. Этот разрыв уже не преодолеть. «Вернуться домой» невозможно.

Это то, о чем говорил Зиммель: опыт «знакомого незнакомца» — нахождения внутри и снаружи. Мы привыкли называть это «отчуждением» или утратой корней. Но теперь это стало архетипическим состоянием позднего модерна. Такой становится жизнь каждого человека. Это то, что я думаю об артикуляции постмодерного или постколониального. Постколониальность любопытным образом подготовила человека к жизни в «постмодерном», или диаспоральном отношении к идентичности. Парадигматически это и именно диаспоральный опыт. Поскольку миграция оказалась всемирно-историческим событием, классический постмодерный опыт оказывается диаспоральным опытом.

К.-Х.Ч.: Но когда диаспоральный опыт был сознательно зафиксирован?

С.Х.: В Новое время, с 1492 года, с началом «евроимперской» авантюры в Карибском регионе, со временем европейской колонизации и работоговли: с этого времени в «контактных зонах» мира культура развивалась «диаспоральным» образом. Когда я в 1960-х писал о растафарианстве и регги или задумывался о роли религии в жизни Карибского региона, меня всегда интересовали эти отношения «перевода» между христианством и африканскими религиями или смешения в карибской музыке. Я давно интересовался тем, что оказалось тематикой диаспоры, хотя и называлось иначе. Долгое время я не пользовался термином «диаспора», поскольку его главным образом применяли по отношению к Израилю. Это было господствующее политическое словоупотребление, с ко-

торым у меня были проблемы в связи с палестинским народом. Таково первичное значение слова «диаспора», закрепленное в Священном Писании и исходном ландшафте, которое требует выдворить всех остальных и вернуть землю, уже заселенную более чем одним народом. Такой диаспоральный проект — «этнической чистки» — не казался мне здравым. Хотя, должен сказать, между черной и еврейской диаспорами есть очень тесные связи — к примеру, опыт страдания и изгнания и вытекающая из него культура освобождения и искупления. Поэтому растафарианство и регги используют Библию: это история народа в изгнании, народа под гнетом чужеземной власти, вдали от дома и символической власти искупительного мифа. Таким образом, нарратив колониальности, рабства и колонизации целиком повторно вписан в еврейский нарратив. В период после эманципации многие афроамериканские писатели обращались к еврейскому опыту как к очень мощной метафоре. В черных церквях Америки побег из рабства и исход из «Египта» были параллельными метафорами.

В религиях чернокожих рабов Моисей более важная фигура, чем Иисус, потому что он вывел свой народ из Египта, из неволи. Меня всегда интересовал этот двойной текст, эта двойная текстуальность. Книга Пола Гилроя «Черная Атлантика»⁵ — это замечательное исследование «черной диаспоры» и роли этой концепции в афроамериканской мысли. Другой ключевой для меня текст в этом отношении — это бахтинское «Диалогическое воображение»⁶, в котором развивается ряд связанных между собой понятий Бахтина-Волошинова о языке и значении — гетероглоссия, карнавал или полисемия, — которые мы теоретически развивали в культурных исследованиях, на самом деле в контексте вопроса о языке и идеологии, но которые оказались дискурсивными тропами, образцово типичными для диаспоры.

Время новых левых

К.-Х. Ч.: Вы приехали в Англию в 1951-м. Что происходило потом?

С.Х.: Мы добирались с матерью до Бристоля на пароходе, затем ехали на поезде до Паддингтона; меня окружали пейзажи Уэст-Кантри, которых я никогда прежде не видел, но знал. Я читал Шекспира, Харди, поэтов-романтиков. Хотя я никогда там не бывал, складывалось чувство, что я вновь обнаружил уже знакомый идеализированный пейзаж, который явился мне как будто во сне. Несмотря на свою антиколониальную политическую деятельность, я всегда стремился учиться в Англии. Потребовалось некоторое время, чтобы примириться с ней, особенно с Оксфордом, потому что это — вершина английской, это центр, двигатель, который ее производит.

Всего было две фазы. До 1957 года я с головой погрузился в политическую деятельность экспатриантов из Вест-Индии. Большинство моих друзей были экспатриантами и вернулись сыграть свою роль на Ямайку, в Тринидад, на Барбадос, в Гайану. Мы были увлечены колониальным вопросом. Мы отметили изгнание французов из Индокитая большим праздничным ужином. Мы впервые обнаружили, что были «вест-индийцами». Мы впервые встретили афри-

5 Gilroy P. The Black Atlantic. Cambridge: Harvard University Press, 1993.

6 Bakhtin M. The Dialogic Imagination. Austin: University of Texas Press, 1981. Первый сборник статей М.М. Бахтина на английском. — Примеч. пер.

канских студентов. Постколониальная независимость росла, и мы мечтали о Карибской федерации, которая объединила бы все эти страны в более крупную структуру. Если бы это случилось, я вернулся бы в Карибы.

Некоторые студенты из Вест-Индии фактически жили какое-то время вместе в том доме в Оксфорде, что породил и новых левых. Они были первым поколением черной, антиколониальной или постколониальной интеллигенции, получавшей образование в Англии, писавшей там дипломные работы и учившейся на экономистов. Многие учились при поддержке своих правительств и, вернувшись, после обретения их странами независимости стали руководящими кадрами. Разговоры с ними в первые оксфордские дни очень повлияли на формирование моей личности и политических взглядов.

В те годы я все еще думал вернуться на Ямайку, чтобы заняться политикой в Вест-Индской федерации или преподавать в Университете Вест-Индии. Я получил вторую стипендию и решил остаться в Оксфорде, чтобы писать дипломную работу. Большинство моих карибских друзей в это время уехали домой. Тогда же я познакомился с людьми из левого движения, в основном из Коммунистической партии и лейбористского клуба. У меня был очень близкий друг, Алан Холл, которому я посвятил эссе о новых левых в сборнике «Выйти из апатии»⁷. Он был шотландцем, археологом-классиком, которого интересовали вопросы культуры и политики. Вместе с ним мы познакомились с Реймондом Уильямсом. Тогда мы очень тесно общались с некоторыми членами компартии, такими как Рафаэль Самуэль и Питер Седжвик, но сами в ней никогда не состояли. Другим моим близким другом был философ Чарльз Тейлор. Как и Алан Холл и я, он был из «независимых левых». Мы интересовались марксизмом, но не были догматиками, мы были антисталинистами, а не защитниками Советского Союза. Поэтому мы никогда не вступали в Коммунистическую партию, хотя и поддерживали с ней диалог, отказываясь быть расколотыми холодной войной, как того тогда требовали лидеры лейбористского клуба. Мы организовали так называемое Социалистическое общество, которое стало прибежищем для независимых умов из числа левых. Оно объединило постколониальных интеллектуалов и британских марксистов, членов Лейбористской партии и других левых интеллектуалов. Участником этой группы был, к примеру, Перри Андерсон. Это было до 1956 года. Многие из нас были иностранцами или внутренними иммигрантами: среди британцев было много людей из провинции, рабочего класса, шотландцев, ирландцев или евреев.

Когда я решил остаться и писать дипломную работу, я вступил в дискуссию с некоторыми людьми из этой широкой левой формации. Я помню, как пошел на митинг и стал дискутировать с членами компартии, выступая против редукционистской версии марксистской теории класса. Это было, если не ошибаюсь, в 1954 году, и, похоже, с тех пор я продолжаю настаивать на том же. В 1956-м я, Алан Холл и еще два наших друга уехали на долгие летние каникулы. Мы с Аланом собирались писать книгу о британской культуре. В качестве отправной точки мы выбрали три главы из «Культуры и общества»⁸, «Выгоды грамотности»⁹, книги Кросленда «Будущее социализма», книгу Стрей-

7 Hall S. The “first” New Left: Life and times // Oxford University Socialist Discussions Group, Out of Apathy: Voices of the New Left 30 Years On. London: Verso, 1989.

8 Williams R. Culture and Society: 1780–1950. London: Penguin, 1958.

9 Hoggart R. The Uses of Literacy. London: Penguin, 1958.

чи «После империализма», мы выбрали Ливиса, с работой которого у нас была долгая помолька. Аналогичные проблемы вскрывались и в культуре. Мы выбрали роман «Счастливчик Джим» Кингсли Эмиса и то, что происходило в кино, в движении британских документалистов — например, эссе Линдсея Андерсона для журнала «Изображение и звук» («Sight and Sound»). В августе, пока мы были в Корнуолле, Советский Союз ввел войска в Венгрию, а в конце месяца Великобритания вторглась в Суэц. Это был конец. Мир перевернулся. Это был момент формирования новых левых. Мы были увлечены чем-то другим.

Большинство людей нашего круга, состоявших в компартии, ушли из нее, и ее оксфордское отделение развалилось. На какой-то момент в Оксфорде эта кучка людей, группировавшихся вокруг Социалистического общества, стала совестью новых левых, потому что мы всегда противостояли и сталинизму, и империализму. Наш моральный капитал позволял нам критиковать и вторжение в Венгрию, и Британское вторжение. Это и есть момент — политическое пространство — рождения первых новых левых в Великобритании. Рафаэль Самуэль убедил нас запустить журнал, «Университеты и левое обозрение» («Universities and Left Review»), и я втянулся в это дело. Работа над журналом все больше и больше увлекала меня. Редакторов было четверо: Чарльз Тейлор, Рафаэль Самуэль, Габриэль Пирсон и я. Решив уехать из Оксфорда в 1957-м, я перебрался в Лондон и работал внештатным преподавателем, в основном в Брикстоне и Овале в южной части города. Обычно я уходил из школы в четыре часа и шел в центр Лондона, в Сохо, редактировать журнал. Итак, я не уехал из Англии прежде всего потому, что по-новому вовлекся в британскую политику.

Стоит сказать, что я думаю сейчас об этой второй фазе. Я никогда не становился на защиту новых левых, но в широком политическом смысле я по-прежнему отождествляю себя с проектом *первых* новых левых. В те годы у меня всегда возникали проблемы с местоимением «мы». Я не совсем понимал, кого я имел в виду, говоря: «Мы должны делать то-то и то-то». У меня складывались странные отношения с британским рабочим движением и британскими институтами профсоюзного движения — Лейбористской партией и связанными с ней профсоюзами. Я входил в него, но в культурном отношении не принадлежал к нему. Как редактор «Университетов и левого обозрения», я искал точки соприкосновения с этим пространством, но я не чувствовал преемственности, которую чувствовали те, кто родился в нем или для кого оно было неотъемлемой частью их «английской», как для Эдварда Томпсона; я все еще в некотором смысле изучал его и вел с ним диалог. У меня был диаспоральный «ответ» на мою позицию среди новых левых. Хотя я тогда еще не писал о диаспоре и политике чернокожих (их тогда еще было мало в Великобритании), я во многом воспринимал британскую политическую сцену как человек иного происхождения. Я всегда сознавал это различие. Я отдавал себе отчет в том, что прибыл с периферии этого процесса и смотрел на него с другого наблюдательного пункта. Я не чувствовал, что эта культура уже была моей, и учился присваивать ее. Я всегда неохотно отправлялся агитировать за Лейбористскую партию. Мне было нелегко напрямую, лицом к лицу, спросить у английской рабочей семьи: «Вы собираетесь голосовать за нас?» Я просто не знал, как произнести эту фразу.

К.-Х.Ч.: По своей сути новые левые были формацией интеллектуалов или они опирались на организованную массу?

С.Х.: Организованной массовой поддержки у них не было. В лучшие свои годы — между 1956-м и 1962-м — они прочнее были связаны с политическими силами и социальными движениями на местах. Клуб новых левых в Лондоне состоял не из одних лишь интеллектуалов. Во время расового восстания в Ноттинг-Хилл в 1958 году новые левые работали на местах, организовывали ассоциации жильцов и группы защиты чернокожих. Мы открывали клубы — клубы «Университетов и левого обозрения» и «Нового левого обозрения» (*«New Left Review»*), — и в какой-то момент их было 26. В них входили лейбористы, профсоюзные активисты, студенты и т.д. Это были не только интеллектуалы; но, поскольку журнал «Университеты и левое обозрение» играл ведущую роль, лидерство закрепилось за интеллектуалами. Затем мы наладили тесные отношения с Кампанией за ядерное разоружение. Связь с нею и с движением за мир была не только классовой; но она представляла собой глубокую вовлеченность в то, что стало одним из первых «новых социальных движений». Таким образом, мы были в авангарде того, что после 1968-го стало именоваться «новой политикой».

Я не пытаюсь представить движение новых левых шире по его социальному составу, чем оно было на самом деле. Но неверно думать, что в своей высшей точке оно на американский манер состояло исключительно из студентов и интеллектуалов. Не забывайте, в Великобритании университеты никогда не были достаточно крупными, чтобы сформировать автономное пространство политики. Поэтому долгое время новые левые были более широкой формацией. Они возникли в тот самый момент в 1960-х, когда происходил значительный сдвиг в классовой структуре. Многие тогда пребывали в процессе перехода между традиционными классами. Среди них были образованные мальчики пролетарского происхождения, которые впервые поступили в колледжи и художественные школы, которые осваивали новые профессии, становились учителями и т.д. Новые левые поддерживали контакт с людьми, которые перемещались между классами. Многие наши клубы располагались в новых городах, где жили люди, родители которых занимались физическим трудом, а сами они получили лучшее образование, окончили университет и стали преподавателями. Хогарт и Уильямс, оба происходившие из рабочего класса и ставшие интеллектуалами благодаря образованию для взрослых, — образцовые новые левые, представители аудитории клубов и журналов новых левых. Мы были в большей степени «новым социальным движением», чем протополитической партией.

К.-Х.Ч.: Почему не попытались как-нибудь организовать эту «аудиторию»?

С.Х.: Это вопрос в духе времени, когда еще не было «новых социальных движений». Мы и сами постоянно задавали его себе, не подозревая, что «тирания бесструктурности» была проблемой для всех «новых социальных движений». У этого было две причины. Первая — Лейбористская партия. Наличие лейбористов как массовой социал-демократической партии заставляло думать, что если бы только можно было создать внутри нее новый альянс, то в нашем распоряжении было бы массовое левое движение, готовое проникнуться идеями новых левых. Лейбористская партия была чем-то вроде приза в ожидании победителя, если бы только эта метаморфоза — партии старых левых в партию новых левых — была осуществима. Звучит знакомо, не так ли? Это ясно выраженная дилемма левого движения в Великобритании.

Вторая причина: поскольку новые левые с самого начала были антисталинистами и в начале 1950-х противостояли бюрократии холодной войны, партийным бюрократическим аппаратам, они предвосхищали новые социальные движения своим отказом от организации. Мы не хотели никакой структуры, никакого лидерства, никаких постоянных партийных аппаратов. Ты принадлежал к новым левым, попросту присоединившись к ним. Мы не хотели, чтобы кто-то платил какие-либо взносы. Может быть, мы во многих отношениях были не правы, но мы придерживались крайне антиорганизационных позиций. Точно так же, как ранний феминизм был антиструктурным. Это был дух 1968-го, *avant la lettre*.

К.-Х.Ч.: Значит, была возможность формировать, или артикулировать, объединение без каких бы то ни было организационных иерархий?

С.Х.: Да, к этому мы стремились. Но я не думаю, что мы понимали, как это делать. Нельзя было просто взять и основать движение новых левых: в конце концов, у рабочего класса уже были собственные институты, Лейбористская партия, профсоюзы. И были люди, симпатизировавшие идеям новых левых в рабочем и профсоюзном движении. В свете сталинистского опыта мы с большим подозрением относились к бюрократическому аппарату политической партии. Поэтому мы решили обойти этот вопрос. Важно было лишь то, утверждали мы, под какими новыми идеями подписывалось левое движение, а не название какой партии оно перенимало. Борьба велась за обновление социалистических идей, а не за обновление партии. «Одна нога внутри, другая — снаружи», — говорили мы. Что нас интересовало, так это вопросы: чем вы занимаетесь на местах? есть ли у вас местное отделение Кампании за ядерное разоружение? бываете ли вы на местном рынке? Мы как будто занимали пространство, не организовывая его, не навязывая людям выбор институциональной лояльности.

Не забывайте, тогда еще не было так называемых новых социальных движений. Мы не воспринимали это как новую fazu (или форму) политики. Нам казалось, что мы все еще играем в старую политическую игру, хотя и по-новому. Лишь оглядываясь назад, мы увидели в тех новых левых ранних предвестников эры «новых социальных движений». То, что я описываю, позже произошло с Кампанией за ядерное разоружение: антиядерное движение стало автономным, независимым движением.

К.-Х.Ч.: Поговорим о «Новом левом обозрении». Главным редактором журнала стали Вы, хотя Вас окружали люди постарше и авторитетнее, вроде Томпсона и Уильямса. Что за ситуация поставила Вас в это неловкое положение?

С.Х.: Ситуация была такая: изначально было две группы, возникшие вокруг журналов «Новый мыслитель» (*New Reasoner*) и «Университеты и левое обозрение». Люди из «Нового мыслителя» — Эдвард и Дороти Томпсон, Джон Савилль, Алasdер Макинтайр — были несколько старше и сформировались в старой, диссидентской коммунистической традиции, вызревшей в среде марксистских историков 1930-х и 1940-х годов. К этому же поколению относился и Реймонд Уильямс, хотя в партии он состоял совсем недолго, будучи студентом Кембриджа. Отколовшись, Реймонд формировался независимо и в результате стал посредником, по возрасту принадлежавшим к поколению «Нового мыслителя», а по кругу волновавших его тем — скорее к нам. Мы

были следующим поколением, запустившим «Университеты и левое обозрение». Мы были связаны с марксизмом, но относились к нему критичней, больше стремились осмыслить новое, в особенности открыть новые перспективы в вопросах популярной культуры, телевидения и т.д. — всего того, что старшее поколение не считало политически значимым. Несмотря на это, обе группы были очень близки друг к другу, между ними было столько общего, и к тому же нам было настолько трудно в финансовом отношении содержать два разных журнала, что постепенно обе редакции стали встречаться друг с другом. Вскоре возникла идея сформировать один журнал. Очевидным претендентом на роль редактора был Эдвард Томпсон, главная фигура в «Новом мыслителе». Но Эдвард с 1956 года с головой ушел в борьбу — в борьбу внутри компартии, разыгравшуюся после того, как Хрущев на XX съезде вскрыл ужасы сталинизма; потом его исключили, а он пытался держать на плаву «Новый мыслитель» при малых средствах. У него было двое детей, и я думаю, он и Дороти просто не могли так дальше жить. Поэтому должность редактора досталась мне, притом что отношение Эдварда ко мне было неоднозначным и стало источником напряженности в редакции.

К.-Х.Ч.: А Реймонд Уильямс, он был посредником?

С.Х.: Да, роль Реймонда была другой. За ним не было закреплено конкретной роли в работе редакции. Он был крупной фигурой, и его работы повлияли на всех нас. Он писал для обоих журналов, особенно для «Университетов и левого обозрения», и благодаря его текстам проект новых левых обрел самобытную и оригинальную идентичность. Я испытал сильное влияние его работ. Затем было поколение помоложе, Чарльз Тейлор, я, Рафаэль Самуэль. Рафаэль был источником идей и вдохновения, абсолютно незаменимым человеком, хотя не из тех, кто мог бы отвечать за регулярный выпуск журнала. К 1958 году я фактически стал редактором «Университетов и левого обозрения» на полной ставке. Чарльз Тейлор к этому времени уже уехал в Париж учиться у Мерло-Понти. Чарльз был очень важен для меня лично. Я помню наши первые споры об «Экономическо-философских рукописях 1844 года» Маркса, которые он привез из Парижа, наши споры об отчуждении, гуманизме и классе.

К.-Х.Ч.: Вы упоминали в «Выйти из апатии» Дорис Лессинг. Какова была ее роль?

С.Х.: Дорис не участвовала в редакционной работе над журналом. Она сотрудничала с ним. Она была очень близка к поколению Эдварда Томпсона и в 1940-х была одним из тех независимых интеллектуалов в Коммунистической партии. Она присоединилась к редакционной коллегии «Нового левого обозрения», но уже дистанцировалась от активной политической деятельности.

К.-Х.Ч.: За два года редакторской деятельности, к 1961 году, Вы полностью эмоционально выгорели. Чем Вы занимались после этого?

С.Х.: Я ушел из «Нового левого обозрения» читать курсы о медиа, кино и популярной культуре в Колледже Челси в Лондонском университете. Я пошел преподавать то, что тогда называлось дополнительными исследованиями, а сейчас мы назвали бы культурными исследованиями. Меня пригласила туда группа преподавателей колледжа, симпатизировавших идеям новых левых и интересовавшихся работами Хогарта и Уильямса, а также исследованиями,

которые мы с Падди Уэннелом проводили для Британского института кино (British Film Institute). Меня определили в Челси преподавать исследования кино и массмедиа. Не думаю, что в то время где-нибудь читались такие курсы. Мы с Падди Уэннелом занимались изучением телевидения и кино через образовательный отдел Британского института кино. Исследование это было связано также со «Свободным кино» («Free Cinema»), движением британских документалистов, куда входил Линдсей Андерсон и другие, с журналом «Экран» («Screen») и Обществом образования в области кино и телевидения. Результатом этой работы, которой мы занимались с 1962 по 1964 год, стала книга «Популярные искусства»¹⁰.

К.-Х.Ч.: До этого Вы собирались писать диссертацию по Генри Джеймсу. Вы бросили ее из-за «Нового левого обозрения»?

С.Х.: В буквальном смысле я бросил ее из-за 1956 года. В более глубоком смысле — из-за того, что все больше времени я проводил, читая работы о культуре и следя этому своему интересу. Я потратил уйму времени в библиотеке Родс Хаус за чтением книг по антропологии и изучением споров об африканских «пережитках» в культуре Карибского региона и Нового Света. На самом деле, тема моей диссертации не была так уж далека от этих увлечений. Она была о противостоянии «Америки» и «Европы» в романах Джеймса. Точнее, она была посвящена культурно-нравственным контрастам между Америкой и Европой, одной из важных кросс-культурных тем в творчестве Джеймса. Меня также интересовала в нем дестабилизация повествовательного «я», последний подобный пример в западном модернистском романе до Джойса. У Джойса повествовательное «я» распадается, Джеймс же балансирует на грани этого. Его язык почти превышает возможности повествовательного «я». Итак, меня интересовали эти два вопроса, имевшие серьезные последствия для культурных исследований. С другой стороны, я не думал, что нужно и дальше осмысливать вопросы культуры с сугубо литературной точки зрения.

Работая в Челси, я поддерживал отношения с Уильямсом и Хоггартом. Я стал инициатором первой встречи Ричарда Хоггарта и Реймонда Уильямса. Я пригласил их для разговора, который потом был опубликован в «Университетах и левом обозрении». Они обсуждали «Культуру и общество» и «Выгоды грамотности». Затем Хоггарт решил уйти из Лестерского университета в Бирмингем, преподавать английский язык. Он хотел и дальше заниматься не обычным литературоведением, а теми исследованиями, что проводил в «Выгодах грамотности». В Бирмингемском университете ему сказали: «Вы можете заниматься этим, но у нас нет денег, чтобы это поддерживать». Но к тому времени он выступил в судебном процессе над романом «Любовник леди Чаттерлей» на стороне «Пингвин бакс» («Penguin Books»). Он пошел к главе издательства, сэру Аллену Лейну, и убедил его дать денег на основание исследовательского центра. Аллен Лейн давал Хоггарту несколько тысяч фунтов в год, которые издательство могло списывать с налогов, поскольку деньги шли на образовательные цели. На эти деньги Хоггарт, остававшийся в должности профессора английской литературы, решил нанять кого-нибудь, кто курировал бы эту работу, и пригласил в Бирмингем меня. Хоггарт читал «Университеты и левое обозрение», «Новое левое обозрение» и «Популярные искусства» и полагал, что я

10 Whannel P., Hall S. The Popular Arts. London: Hutchinson, 1964.

с моим интересом к телевидению, кино и популярной литературе, знанием дебатов о Ливисе и интересом к культурной политике подхожу для этой работы. Я прибыл в Бирмингем в 1964 году и женился на Кэтрин, которая в том же году переехала в Бирмингем из Сассекса.

Бирмингемский период

К.-Х.Ч.: Широко распространено мнение, что исторически Центр современных культурных исследований (Centre for Contemporary Cultural Studies, CCCS) в самом начале интересовалась лишь классовая проблематика. В то же время известна история о том, что первый коллективный проект центра был посвящен анализу женских журналов, но его рукопись каким-то образом пропала в процессе производства, не будучи даже ксерокопированной¹¹. Это правда?

С.Х.: О да, абсолютная правда. И то и другое. В самом начале культурные исследования интересовались прежде всего классом — не в классическом марксистском смысле, а в трактовке Хогартса и Уильямса. Некоторые из нас формировались в критическом отношении к марксистской традиции. Нас интересовал классовый вопрос, но он никогда не был единственным: например, вы можете найти важное исследование о субкультурах, проведенное на ранних этапах существования центра. Во-вторых, если говорить о теоретических аспектах культурных исследований, мы ходили вокруг да около, чтобы избежать редукционистского марксизма. Мы читали Вебера, немецких идеалистов, Беньямина, Лукача, пытаясь скорректировать то, что мы считали непригодным, и ответить на вопрос: как классовый редукционизм исказил классический марксизм, не позволяя ему всерьез заниматься вопросами культуры. Мы изучали этнетодиологию, конверсационный анализ, гегельянский идеализм, иконографические исследования по истории искусства, Маннгейма; мы читали все это, чтобы найти альтернативные (функционализму и позитивизму) социологические парадигмы, которые нельзя было бы обвинить в редукционизме. Поэтому идея о том, что CCCS изначально интересовал *только* лишь класс, неверна как эмпирически, так и теоретически. В-третьих, мы занялись к тому же феминистскими (или скорее дофеминистскими) и гендерными вопросами. Мы взялись за прозу в женских журналах. Мы потратили уйму времени на историю под названием «Лекарство от брака», и все эти статьи, которые мы собирались выпустить отдельной книгой, потом исчезли; а значит, тот момент в истории культурных исследований утрачен. Это был «дофеминистский» период истории центра.

В какой-то момент мы с Майклом Грином решили пригласить в центр некоторых феминисток, чтобы привнести в него соответствующую проблематику. Поэтому «традиционная» история о том, как феминизм изначально вышел *изнутри* культурных исследований, не совсем верна. Мы очень хотели установить эту связь, отчасти потому, что оба в то время жили с феминистками. Мы работали в области культурных исследований, но вели диалог с феминизмом. Люди, занимавшиеся культурными исследованиями, в то время уделяли все больше внимания гендерному вопросу, но не феминистской политике. Конечно, когда феминизм в самом деле возник автономно, нас, как классических

11 Мы благодарим Ларри Гроссберга за эту информацию, предоставленную в ходе личной беседы в июле 1992 года.

«новых людей», застало врасплох то, чему мы сами — патриархально — пытались положить начало. Эти вещи очень непредсказуемы. В действительности феминизм ворвался в культурные исследования на своих собственных условиях и собственным взрывным образом. Но нельзя сказать, что культурные исследования тогда задумались или узнали о феминистской политике впервые.

К.-Х.Ч.: Затем, в конце 1970-х, вы ушли из CCCS в Открытый университет. Почему?

С.Х.: Я проработал в центре много лет: пришел туда в 1964 году и ушел в 1979-м. Я беспокоился о «преемственности». Кто-нибудь, новое поколение должно было сменить меня. Мантисия должна передаваться дальше, иначе все дело умрет вместе с тобой. Я знал это, потому что сам стал исполняющим обязанности директора, когда Хогарт решил уйти. Он ушел в 1968-м в ЮНЕСКО, а я еще четыре года «исполнял его обязанности». Когда в 1974 году он решил не возвращаться, университет приложил много усилий, чтобы закрыть центр, и нам пришлось с этим бороться. Я понял тогда, что до некоторой степени, пока я буду там, они его не закроют. Они обращались ко многим профессорам за советом, и каждый говорил: «Стюарт Холл продолжит традицию Хогарта, не закрывайте центр». Но я знал и то, что, как только я уйду, они вновь попытаются закрыть его. Я должен был позаботиться о переходе. До конца 1970-х я не считал положение надежным. Когда я почувствовал обратное, я смог спокойно уйти.

В то же время я чувствовал, что слишком устал от ежегодных внутренних кризисов культурных исследований. В октябре-ноябре приходили новые студенты, после чего всегда случался первый кризис: с магистратурой не все в порядке, всюду суматоха. Я наблюдал это снова, снова и снова. Я говорил себе: «Ты становишься типичным разочарованным профессором. Ты должен уйти, пока это не обернулось дурным опытом и пока тебе не пришлось усвоить эти древние привычки».

Было трудно по двум причинам ответить и на вызов феминизма. Во-первых, одно дело, если бы я был противником феминизма, но я был его сторонником. Поэтому превращение во «врага», в ведущую патриархальную фигуру ставило меня в невероятно противоречивую позицию. Конечно, они должны были сделать это. Они были совершенно правы, поступая так. Они должны были заткнуть мне рот; такой была политическая программа феминизма. Если бы мне затыкали рот правые, все было бы в порядке, мы бы до смерти боролись с этим. Но я не мог бороться со своими студентками-феминистками. Это можно рассматривать и как противоречие между теорией и практикой. Можно выступать за определенную практику, но все иначе, когда перед тобой стоит настоящая феминистка и говорит: «Давайте уберем Реймонда Уильямса из мастерской программы и заменим его на Юлию Кристеву». Жить политикой — не то же самое, что отвлеченно выступать за нее. Феминистки поставили мне шах и мат, я не мог примириться с этим в работе центра. Это не было чем-то личным. Я поддерживаю близкие отношения со многими феминистками того периода. Это было структурной проблемой. Я больше не мог в таком положении заниматься полезной работой. Пришло время уходить.

С самого начала центр был чем-то вроде «альтернативного университета». Между сотрудниками и студентами было мало различий. Но потом я увидел, как возникает граница между поколениями и статусами — преподавателями

и студентами, а я не хотел этого. Раз уж я должен был взять на себя ответственность быть преподавателем, я предпочел быть им в более традиционной обстановке. Я не мог проживать часть времени, будучи их преподавателем и их отцом, чтобы они ненавидели меня как отца и видели во мне мужчину-антифеминиста. Такой политикой было невозможно жить.

По этим причинам я и хотел уйти. Тогда возник вопрос: уйти, чтобы заниматься чем? Других отделений культурных исследований не было. Я не хотел возглавлять отделение социологии где бы то ни было. Тогда мне и подвернулась работа в Открытом университете. Я бы сотрудничал с университетом в любом случае. Моя жена Кэтрин преподавала там с самого начала. Я посчитал, что Открытый университет — самый подходящий вариант. В этом более открытом, междисциплинарном, неконвенциональном учреждении могли осуществляться некоторые стремления моего поколения — общаться с обычными людьми, женщинами и чернокожими студентами в неакадемической обстановке. Это служило и некоторым моим политическим целям. И потом, я считал, что это позволит перевести высокую парадигму культурных исследований, сформированную в тепличной атмосфере центра, на более популярный уровень, поскольку курсы в Открытом университете были доступны для людей без академического образования. Если вы собираетесь увлечь их идеями культурных исследований, вы должны перевести эти идеи, должны быть готовы писать на более популярном и доступном уровне. Я хотел, чтобы культурные исследования были более открыты этому вызову. Я не видел причин, почему бы им не жить в качестве более популярной педагогики.

Центр был теплицей, в которой наиболее способные студенты писали свои диссертации. Как органические интеллектуалы, они стремились примкнуть к более широкому движению, но сами находились на вершине крайне селективной образовательной системы. Открытый университет таким не был. Он оспаривал селективность системы высшего образования. Поэтому возникал вопрос: могут ли там осуществляться культурные исследования?

К.-Х.Ч.: Вернемся к вопросу о диаспоре. Некоторые из известных мне диаспоральных интеллектуалов, хорошо это или плохо, использовали свое влияние, вернувшись домой, но Вы не из их числа. И некоторые из них пытались каким угодно способом вернуться назад. В этом отношении Вы стоите особняком.

С.Х.: Да. Но не забывайте, что диаспора пришла ко мне. Я оказался здесь в первой волне диаспоры. Когда я приехал в Великобританию, единственными черными здесь были студенты, и все чернокожие студенты хотели после колледжа вернуться домой. Постепенно, когда я учился в аспирантуре и только возникли новые левые, здесь обосновались чернокожие рабочие, и они стали диаспорой в диаспоре. Карибы — это уже диаспора Африки, Европы, Китая, Азии, Индии, и эта диаспора вновь диаспоризировалась здесь. Поэтому многие из моих последних работ не просто о постколониальности, но посвящены чернокожим фотографам, режиссерам, театральным работникам — чернокожим британцам в третьем поколении.

К.-Х.Ч.: Но Вы никогда не пытались использовать свое интеллектуальное влияние на родине.

С.Х.: Были моменты, когда я вмешивался в дела своей родины. В какой-то момент до 1968 года я включился в диалог со знакомыми мне людьми того поколения.

ления, пытаясь прежде всего сгладить противоречия между чернокожими марксистами и черными националистами. Вы должны говорить друг с другом — призывал я. Чернокожие марксисты тогда искали ямайский пролетариат, но на Ямайке не было тяжелой промышленности; и они не прислушивались к революционному культурному напору чернокожих националистов и растафарианцев, развивавших более убедительный культурный язык или язык субъективности. Но по существу, я никогда не пытался играть там большой политической роли. Отчасти потому, что прорыв в местной политике — культурная революция, впервые превратившая Ямайку в «черное» общество в 1970-х, — совпал с прорывом в моей собственной жизни. Я бы вернулся и попытался сыграть какую-либо роль, если бы сохранилась Карибская федерация. Этой мечте пришел конец в 1950-х, когда я решил остаться и вступить в разговор с теми, кто стал новыми левыми. Вероятность сценария, в котором я мог быть политически активным на Карибах, растаяла в тот самый момент, когда я нашел для себя новое политическое пространство здесь. После того как я решил, что останусь жить здесь, и женился на Кэтрин, вернуться стало еще сложнее. Кэтрин была английским социальным историком, феминисткой; ее политика разворачивалась здесь. Конечно, сейчас, как это ни парадоксально, ее исследования посвящены Ямайке и имперским отношениям, она знает историю Ямайки лучше меня и любит бывать там. Но в 1960-е белая британская феминистка едва ли могла претендовать на большее, чем быть аутсайдером по отношению к ямайской политике. Меня «переподключило» к Карибам формирование черного диаспорного населения в Великобритании. Я стал писать о нем в контексте исследований этничности и расизма для ЮНЕСКО, потом писал о нем в «Управлении кризисом»¹², сосредоточив внимание на расе, расизме и их внутренней связи с кризисом в британском обществе, а теперь пишу о них с точки зрения культурных идентичностей.

К.-Х.Ч.: Значит, диаспору как личностно, так и структурно определяют стечения исторических обстоятельств, а ее творческие энергии и сила происходят отчасти из этой неразрешимой напряженности?

С.Х.: Да, но при этом она очень специфична и никогда не утрачивает своих особенностей. Именно поэтому мой подход к рассмотрению вопросов идентичности несколько отличается от постмодернистского «номадического». Я считаю, что культурная идентичность не фиксирована, она всегда гибридна. Но именно потому, что она происходит из очень специфических исторических формаций, из очень специфических историй и культурных репертуаров артикуляции, она может образовывать «позиционность», которую мы и называем условно «идентичностью». Каждая из этих историй идентификации вписана в позиции, которые мы занимаем и с которыми себя отождествляем, и мы должны проживать этот ансамбль позиций во всей их специфичности.

8 августа 1992 г.

Перевод с английского Николая Вокуева

¹² Hall S., Critcher C., Jefferson T., Clarke J., Robert B. Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order, London: Macmillan, 1978.